

Плоткин Семён

Боевые записки невоенного человека



Семён Плоткин

**Боевые записки
невоенного человека**

«Автор»

1997

Плоткин С. Б.

Боевые записки невоенного человека / С. Б. Плоткин — «Автор»,
1997

ISBN 978-5-532-12562-9

Не совсем житейская история ленинградского доктора, оказавшегося в Южном Ливане. По-питерски интеллигентно, по-еврейски немного грустно и иронично.

ISBN 978-5-532-12562-9

© Плоткин С. Б., 1997

© Автор, 1997

Семён Плоткин

Боевые записки невоенного человека

Тем, с кем я заходил,
и памяти тех, кто не вышел

“ Попробуем взглянуть на это
дело с житейской точки
зрения“.
С. Довлатов

“Я никогда не вернусь в Ленинград”.
М. Веллер

1

Мне нравятся мелкие, неприметные на первый взгляд, парадоксы, придающие нашей однообразно утекающей жизни особую, порой не замечаемую в своей обыденности, пикантность. Не покажется необычным, что израильские солдаты поют под отсвечивающим серебром звезд иссиня-черным ливанским небом песни Розенбаума. И, как наяву, померещилось – снова ветер заносит в знакомые подворотни буро-желтые кленовые листья, Медный Петр вздыбливает коня к слившимся с невской водой свинцовым облакам, а с высоты Александрийского столпа ангел смотрит на до боли знакомую перспективу...

По омытым дождём проспектам мимо перемигивающихся красным сигналом светофоров несется рафик “скорой помощи”. Противный, замораживающий кровь вой сирены разрушает тонкую ауру видения и возвращает на грешную землю Ближнего Востока. Сирена, не умолкая, бьется над базой и вместе с ней, в порывах неожиданно поднявшегося ветра, забился на высоком древке ярко-белый флаг с голубой шестиконечной звездой. “Тревога! Тревога! – перекрывает сирену металлический голос из репродуктора, – Все по местам!”

Струна оборвалась.

–Розенбаум в Афган ездил, а к нам не приедет,– слышу я за спиной.

Мы бежим к площадке, где стоят бронемашин. Из оживших аппаратов связи брызгами разлетаются обрывки обычной радиоперебранки. Сирена, дав “петуха”, протяжно затихает, ветер пропал и, по-гвардейски надувшийся было флаг, сник.

Над моей головой, вполголоса, продолжается разговор: “Чувак, не каждому выпадает искать свое еврейское счастье в Зоне, которая не просто зона, но еще и Зона Безопасности.”

–Я на концерте слышал, как он обещал взять автомат и приехать защищать Израилровку.

–Мы сами себе защитники. У Розенбаума есть гитара, зачем ему автомат?! Это, во-первых. Во-вторых, наша страна называется Израилем, и называть её Израилровкой можем только мы, в зависимости от настроения.

–Я не то хотел сказать. Я говорю о его песнях. Они хороши для поднятия боевого духа и так, для культуры.

–Сказал бы я тебе, что у тебя поднимается без моральных подпорок, да Заратустра не позволяет.

Теперь ясно – базарят Володя, ныне Зеев, и Шурик – он же Алекс.

На прошлой неделе Шурик, хороший еврейский мальчик из приличной семьи, отличился. Тупой и агрессивный джобник Шмулик, получивший за наглость и презрение к воин-

ским обязанностям двадцать восемь дней без выхода из части, попросил Шурика передать привет и письмо своей подруге. Шурик выполнил не только поручение Шмулика, но и пожелания его подруги, решившей, что месяц разлуки и воздержания слишком большой срок. Но, Шурик – не Шмулик, он потомственный русский интеллигент, он мучается совестью. С одной стороны ему понравилось и хочется еще, а с другой стороны – неудобно перед Шмуликом, перед его подругой, и он сам себе противен. Шурик копается в своей душе и, используя телефон в моем кабинете, пытается приобщить к этому подругу Шмулика. Он делает долгие паузы, еле слышно тянет слова и шумно дышит в трубку.

Скажи мне кто её друг, и я скажу тебе, какова его подруга.

–Ма ата роце? Ред ми мени!– слышим мы её резонирующий низкий голос.

–Который тут временный? Слазь с mine! Кончилось твоё время!– загибаясь от хохота, Володя выдавливает из себя вольный по форме, но точный по содержанию перевод.

Еврейский князь Мышкин из Шурика не получается, он бросает трубку и в очередной раз обещает больше ей не звонить. Из коридора, от общественного телефона, слышен жизнеутверждающий, первобытный вой Шмулика, дождавшегося своей очереди.

Из обрывков разговоров в эфире проясняется, что наши ребята, лежащие в засаде на безымянной каменной террасе, заметили двух террористов, застывших в кустах на той воображаемой линии, которая называется границей зоны безопасности.

Днем, вернувшийся с задания Вадик, здоровый парень, таскающий на своем горбу пулемет, будет, застенчиво моргая русыми ресницами, рассказывать любопытным: ”Задремал я, понимаешь. Вдруг! Что-то внутри меня толкнуло! Продираю глаза – Ой! Мать моя женщина! Прямо против меня, метрах в трехстах, в кустах, стоят два хизбаллона. Один автомат на плече держит, а другой – вот так, – Вадик вытягивает вперед руку, – наизготовку. И не двигаются”.

Усиливая напряжение, на землю опускается предрассветный туман. С натужным ревом пошел вперед танк. Ожидание, в любой момент грозящее прерваться автоматными очередями, давит. Но ещё страшнее прыгать в недружелюбную ночь, нестись, не разбирая дороги туда, где ждут нашей помощи, сознавая, что и нас могут караулить предусмотрительно заложенные мины или озаряющий все вокруг характерным свечением внезапно выпущенный “Сайгер”.

Время тянется нестерпимо долго. Володя с Шуриком замолкают. Медленно, но настойчиво клонит в сладкую полудрему. Наконец над Хермоном встает ярко-красное солнце, резко светлеет, туман рассеивается. В наушниках раздаётся возглас облегчения, возвращаемся к обычной жизни. На этот раз пронесло. Террористы оказались при дневном свете хитросплетением ветвей.

Я высовываю голову из люка и обращаюсь к ребятам:

–Пацаны! Решайте, пока я добрый, кто со мной на шабат остается?

–Я, – отвечает Володя.

Я удивленно поднимаю брови: Шурик отгулял, как мы уже знаем, прошлый шабат в Израиле.

–Ему важнее, – подмигивает мне Володя.

–Топай. Топай, а то передумаю!– хлопает он Шурика по плечу, –Тебя ждут, а меня – некому.

Забыв обо всем от радости, Шурик соскакивает во взбитую гусеницами невесомую пыль и мчится к казарме.

–Молодой, зеленый, – по-отечески качает ему вслед головой Володя и взваливает на себя немудреный боевой скарб.

У двери моего кабинета нас уже ждет Шурик. Он торопливо переступает с ноги на ногу, как в очереди в туалет. Ему нужен телефон.

–Мой совет до обручения – не целуй её, – напутствую я его.

Теперь можно кинуть в угол автомат, каску, бронежилет, завалиться на койку и спать. Взволованно-восторженный голос Шурика не дает мне уснуть. Он живописует подруге Шмулика как им будет хорошо почти целых три дня – пол четверга, целую пятницу, субботу и кусочек воскресенья.

– Секс-момент – “Соло на телефоне”. Продолжайте, маэстро! – Володя хлопает в ладоши и подмигивает мне.

– Дай человеку порезвиться, – останавливаю я его. У Шурика слишком тонкая натура, еще не до конца обломанная военной машиной.

Наконец я засыпаю. И снова, но уже беззвучно, мчится “скорая” по Кировскому проспекту, по Большому проспекту, сперва Петроградской стороны, потом Васильевского острова и вылетает на мост Лейтенанта Шмидта. Брусчатка площади Труда сливается перед моими глазами, и я проваливаюсь как есть, в форме и в ботинках, в сон.

2

За окном, с легким стекольным перезвоном, простучал по стыкам ленинградский трамвай. Мелко затряслась, переливаясь и печально позвякивая подвесками, хрустальная люстра. Дневной свет, пробиваясь сквозь пыльное облако, наполняет душную комнату. Сейчас я опущу на пол ноги и солнечный зайчик осторожно подкрадется к ним по вымазанному рыжей мастикой паркету.

Я поднимаю голову – передо мной знакомая карта северной границы Израиля и Южного Ливана. В школе на уроках НВП, начальной военной подготовки, по таким картам, которые старый отставник “полковник-подоконник” называл “полуверстками”, мы играли в войну. “Вы получили приказ командования, – дребезжал голос “полковника-подоконника”, – прибыть из поселка городского типа “Первомайское” в колхоз “Рассвет”, следуя вдоль русла реки “Знаменка” и канала имени Кирова. В вашем распоряжении пять минут отметить топографические квадраты, через которые пройдет ваш маршрут и оценить стоящие перед вами естественные препятствия.”

Красный Маген Давид в центре карты – это я. Здесь я живу и работаю, не люблю подневольного “служу” или героического “сражаюсь”. Отсюда вниз тянется витая черная ниточка – асфальтовая дорога, связывающая нас с “Большой Землей”. А выше темные треугольнички – опорные пункты нашей и южноливанской армии.

При входе в казарму висит плакат – “Наша цель тишина и покой северным поселениям и жителям Южного Ливана”. Каждый раз, возвращаясь из Израиля, Володя крестится на него и говорит – “Аминь!” Проходит время – меняются призывы. В мои годы нас встречал лаконичный “Наша цель – Коммунизм!” – что выглядело и абстрактнее и честнее. Нет в этом мире ни тишины, ни покоя, а призрак, рожденный воспаленным воображением двух косматых космополитов, отбродив, пугая своим оскалом, Европу и прочие континенты, удалился на покой, в то время как постоянно присутствующие в истории евреи продолжают своей кровью платить за место под солнцем.

– “Где же Вы, друзья-антисемиты?! Дорогие спутники мои!” – напевает Шурик, запихивая грязное белье в вещмешок-кидбек. Я приподнимаю руку – не свисти – беду накличешь – и тыкаю в налипшие на мушку лепешки грязи: “Это что такое?! Кто тебе оружие чистит?!”

– Мама, – не смущается Шурик.

– ?!

– Док, это же элементарно, – Володя не может успокоиться, – Его родительница уже с утра в окно поглядывает – бойца нашего высматривает. Как увидит – к дверям кинется автомат

принимать. Шурик признайся, как на духу – это правда, что у твоей мамы есть три тряпочки: одна – стол вытирать, вторая – тебе сопли дуть, а третья – автомат драить!

– Да пошел ты, – от отсутствия контраргументов пунцует Шурик.

Видно, что Володя прав, но мне немножко жалко парня. Его мама почти полтора года наивно убеждена, что Шурик прохлаждается подальше от средиземноморской жары где-то в горах Галилеи. Так она решила, узнав наш номер телефона. Лишь однажды, когда в ее сердце закралось сомнение, шурикина мама робко попыталась выяснить, куда она попала, но Володя был на высоте. “Да здесь мы, здесь, – голосом развязного гаера кричал он в трубку, – От нас до границы красной кавалерии скакать и скакать, через доли и леса. Ливан? Помилуйте, какой Ливан?! Ливан – это за-ру-беж! Туда разговор через телефонистку заказывать надо! С предъявлением номера удостоверения личности”. Неужели бедная женщина поверила в этот бред?! Счастлив тот, кто живет в неведенье!

Гул голосов снаружи усиливается – признак того, что солдаты, выходящие домой, собрались и теряют терпение. Кто-то грохает каской по загудевшей металлической двери и рывкает: “Алекс!” Шурик, волоча за собой вещмешок, бросается на крик. Володя, выдержав паузу, с независимым видом идет провожать товарища. Как в конце пьесы – звук пропал, сцена пустеет, и я остаюсь один. Через несколько минут зализанные грязно-серые силуэты бронемашин выскочат за бетонный забор, отделяющий базу от дороги, и, набирая скорость, понесутся в сторону Израиля навстречу свету, праздной жизни, навстречу шабату! А для нас наступит время расслабиться, скинуть пахнущие носки, вытянуть ноги и пошевелить затекшими пальцами. Затихла казарма как покинутая по окончании сезона дача.

Конец недели в армии – самые приятные дни для сугубо штатского человека. Они лишены той специфики, выделяющей людей в форме в отдельную категорию человеческой формации. Не надо просиживать штаны, сожалея о бездарно проходящем времени, на бесконечных заседаниях, где только посвященным ясно о чем говорят и что следует сказать. Мое единственное выступление особым шрифтом вписано в анналы нашей части. Разговор был посвящен какой-то антенне. Командир дивизии, мрачно окутываясь сигаретным дымом, в молчании пролистывал бумаги, потом тяжело поднял на нас глаза, как бы выбирая жертву, и, наконец, произнес: “Офицер связи, доложите, почему упала антенна?” Связник, вздорный мальчишка с белым чубом, заморгал, засуетился, залистал свой блокнотик, вздохнул и выпалил: “Антенна упала, потому что не был приварен штырь! Я месяц назад подал докладную Вам и в снабжение”.

– Хорошо. Снабжение – доложите!

Снабженец – постарше и тертый – дремал, почесывая между ног. “Можете крепить все, что вы хотите, – буркнул он, – Штырь приварен”.

– Когда?! – накинулся на него связник, – Я тебя полгода прошу об этом!

– Не твое дело, – снабженец повернулся боком и заскребся сильнее, – Просили – получите!

– Хорошо. Почему до сих пор антенна не на месте?

Связника можно было выжимать, но он отбил и этот мяч: “Я должен послать её на ремонт в Израиль, а автодорожники не дают транспорт.”

– У нас действительно с шоферами проблема, – подал голос начальник штаба, с добрым намерением прекратить дискуссию.

Командир дивизии даже не посмотрел в его сторону: “Я не просил высказываться”, – и неожиданно обратился ко мне: “Начнем с доктора”.

Разумеется, напрашивается по-одесски философский вопрос: “Что доктор знает за антенну?” Что понимает он в современной технике, оторвавшись от историй болезней с сакраментальной записью: “без патологических изменений”, повернувшись спиной к шкафу с таблетками: “от живота”, “от головы”, “от суставов”, “от температуры”?! Ровным счетом ничего! И я выдал:

–У меня уже вторую неделю телевизор не работает!

Ответом мне был дружный хохот молодых и здоровых мужчин.

–Доктор – это не та антенна!

–Я понимаю, что не та, но телевизор у меня все равно не работает!

Так я оградил себя от чрезмерных “посиделок” с высоким начальством, но не избавил себя от прочих малоприятных хлопот. Третьего дня меня поднял невообразимый рокот, неумолимо накатывавшийся к моей комнате. Я только успел присесть за стол и принять позу созерцающего мир гения, как ко мне ворвался начальник базы, именуемый в русскоязычном кругу “товарищем прапорщиком”, красноречивый детина, щеголяющий по особо торжественным случаям в фуражке с загнутой тульей, оставшейся, как анахронизм со времен британского мандата. “Товарищ прапорщик” волок за собой Володю и жаждал расправы. Человек, хоть раз, отстоявший на часах, когда весь смысл жизни съёживается до одной фразы – “Стой, кто идет!”, поймет всю чувствительность данной темы. И там, где другие языки бессильны и беспомощны только он один – великий и могучий– выручит и придаст уверенность. Моему Володе выпало на одну ночную смену больше и он, борясь за справедливость, пообещал вступить в нестроговые и нефизиологические отношения с посягнувшим на его права. “Товарищ прапорщик” не гимназистка, не первый год в армии и в русской идиоматике поднаторел, но также усвоил, что у врача есть волшебное слово, могущее стереть его– грозу солдат и радателя воинской дисциплины – в порошок. Когда на еженедельном расширенном заседании штаба я канцелярским голосом произношу “санитарное состояние”– и делаю качаловскую паузу, нет у меня более внимательного и преданного слушателя, нет, и не будет! Кого еще может интересовать содержание мусорных баков и состояние сортиров?!

Как это принято в Израиле, мы вступили в переговоры с бесконечным повторением “будет хорошо”, нудным пересчитыванием часов и тыканьем “почему мы, а не они!” В результате, к обоюдному успокоению страстей, был достигнут компромисс, – ночь осталась за нами, но её отстоит, пока ни о чем не подозревающий Шурик. “Товарищ прапорщик” согласился с тем, что услышанное им было простым выражением чувств и непосредственно к нему не прикладывалось, осклабился – “Мы же друзья, док!” и удалился, не закрыв за собой дверь.

–Я тебе пасть порву,– гаркнул ему вслед Володя,– Маргала выколю!

Если не поле брани, то последнее слово осталось за нами.

3

Я выхожу наружу. Яркий дневной свет режет глаза. Тишина и покой. Часовые прячутся в тень бетонированных будок. В густом, застывшем жарком воздухе хамсина вымирает арабская деревня, приткнувшаяся к холму, на котором стоит база. Я иду к забору и кричу– “Васька!” Появляется Васька, как его кличут здесь на все лады и арабы и евреи, молодой, жирный араб в пестрой, нестираной рубашке. В свое время, по линии компартии, Васька выучился не то во Львове не то в Харькове на инженера и русскому языку с мягким малоросским акцентом. Здесь, в Ливане, Васька держит ларек, в котором наши солдаты отовариваются колодой и сигаретами.

–Васька,– говорю я ему,– Хизбалла тебе за сотрудничество с израильским агрессором яйца отрежет.

В притворном ужасе Васька закатывает черные, маслянистые глазки, он понял, что я хочу от него. Трудно не понять. Гарнизонная жизнь в России и в Израиле имеет те же законы и те же особенности.

–Никак нельзя, товарищ начальник,– шепчет Васька, будто нас кто-то подслушивает.

–Давай, шевелись,– понукаю я его,– Меню то же. Водки не надо,– что-что, а надираться в одиночку и без хорошей закуски я не умею.

–У меня “Смирновская” в холодильнике имеется,– как половой в трактире изгибается Васька.

Я молчу, и он передает мне черный полиэтиленовый мешок с торчащей для маскировки бутылкой “пепси-колы”. Кроме “пепси” Васька положил в кулек несколько бутылок ливанского пива “Алмаза”– свободная импровизация на тему голландского “Амстеля”– и пакетик соленых орешков, чтоб было чем заесть шабатные шницели. Я расплачиваюсь шекелями.

–А доллары – лучше!– нахально лыбится Васька.

–Рублями получишь,– я делаю вид, что собираюсь забрать деньги назад.

Васька прячет их в толстый бумажник на липучках, где есть все– доллары, шекели, динары, фунты.

Мужской разговор закончен и из ларька неловко, боком, вылезает Васькина жена Татьяна, окруженная выводком арабчат, брюхатая очередным Мухамедом или Али. Васька смотрит на неё с обожанием – она такая большая и белая!

О эти русские женщины, воспетые Некрасовым и Коржавиным! Куда только вслед за мужьями не заносила их судьба! Декабристки пошли в Сибирь, коммунистки – на Колыму, а нынешние открыли континенты потеплее.

Меня как-то ночью срочно вызвали в больницу к ребенку. Робеющий доктор, с грехом пополам исполняющий обязанности толмача, мягко пожав руку, незаметно исчез – признак того, что вопрос административный, а не медицинский, оставив меня один на один с наглым и темпераментным цадальником, затарахтевшим по-арабски с отдельными ивритскими вкраплениями. Смысл был ясен без слов. Солдат за свою службу требовал разрешения на лечение в Израиле. В центре приемного покоя, на носилках, вздрагивая в такт дыханию, спал мальчик лет пяти в порванных джинсах, окровавленной рубашке и запекшейся вокруг носа кровью. В углу, на краешке стула, притулилась, закутанная с головы до пят, всему покорная, узнаваемая по фильму “Белое солнце пустыни”, женщина Востока.

–Что случилось с твоим сыном?– на иврите спросил я цадальника.

Тот не понял вопроса, несколько минут мы пререкались на пальцах, наконец, до него дошло, и он косолапо потопал к жене. От услышанного, я вздрогнул. Поразило даже не то, что солдат назвал ребенка – “малым”, а как из-под не колыхнувшийся паранджи глухо выдохнуло: “Не досмотрела я. Утром свалился с лошади”.

–Ишь ты,– громко восхитился Шурик,– араб казака родил.

Цадальник, кажется, не оценил юмора, а паранджа не шелохнулась.

Обычно Татьяна к забору не подходит, держится с детьми на расстоянии. Образованный Шурик объясняет это законами шариата, прагматичный Володя обычным антисемитизмом, а мне Татьяна как-то сказала, когда вела дела вместо уехавшего за товаром мужа: “Вы, таких как я, потаскушками считаете. Я же с Васей с первого курса института вместе!” “Количество лет, проведенных женщиной на ученической скамье, на её сущность не влияет”,– цинично отреагировал Володя, а я тогда пиво брать не стал. Постеснялся её инженерного диплома, что-ли.

Сейчас Татьяна подходит близко.

–День добрый.

–Добрый день.

–Скажите, Вы давно там не были?– спрашивает она.

–Давно. Как в Израиль приехал.

–Назад не тянет?

–Нет. Да и некогда,– уточняю я.

–А меня он не пускает.

–Не может быть! Васька, что за домострой?!

Последнее слово Васька не понимает. Он просто берет младшую девочку на руки и улыбается жене. Говорить больше не о чем, и мы расходимся. Я возвращаюсь. Вдоль забора густо разрослись кусты, осыпанные белыми и розовыми цветами. Удивительный народ эти израильтяне – куда бы они ни пришли – сразу же тянут за собой трубочки с капающей живительной влагой. И сажают деревья.

Аборигены еще со времен капитана Кука по-своему осмысливают миссионерскую деятельность. И под одно из таких деревьев, растущих при дороге, подложили мину. Взрыв прогремел метрах в двухстах от замыкающей машины. Колонна встала. Из следовавшего за нами джипа вывалился контуженый садовник и побежал в сторону, в облаке еще не осевшего дыма и пыли. Мы высыпали из машин на дорогу. Кто-то азартно всаживал патрон за патроном в белый свет, кто-то озабоченно докладывал по радию, в ожидании дальнейших указаний, кто-то громко, по свежачку, делился впечатлениями, а кто-то просто пытался узнать – что все-таки произошло. А потом стало тихо, словно погожим летним днем в лесу. Только легкий шелест листвы. Логика и здравый смысл подсказывали, что сейчас начнется: уж слишком мы были хорошая мишень – двенадцать озабоченных израильтян и три машины, кучкующиеся посреди дороги. Влекомые инстинктом самосохранения люди рассредоточились, залегли.

У обочины примостился одинокий домик. Мы с Володей и сапером “из наших, из славян” бежим к нему мимо запричитавшей хозяйки, перескакиваем через загромоздившие лестницу плетенки и коробки, выбираемся на плоскую крышу и растягиваемся на горячем асфальте. Сверху хорошо просматривается спускающаяся с холма рощица и клочки земли с сочной зеленью табака. Сапер нацелился на неё в бинокль. В разрезе между воротником бронежилета и каской я вижу его розовые с юношеским пушком щеки и сосредоточенно поджатые губы. Страх не чувствовался, он пришел позже. Мне интересно. По грунтовой дороге, огибающей рощицу, ползут два пятнистых бронетранспортера Цадаля. Издалека они кажутся игрушечными машинками, брошенными детьми в песочнице. Я веду себя как зритель на представлении, смотрю по сторонам и жду продолжения. Но время идет, припекает солнце, а развития действия нет. В этот момент зрители обычно начинают свистеть и топтать ногами.

Выстрелы раздались неожиданно, оглушив и ударив по ногам отлетающими гильзами. Я рефлекторно дернулся в сторону, пальцем сдирая предохранитель. В ушах звенело и, будто через вату, услышал володино “там, мне показалось!” Он стоит на одном колене и тычет вправо на невзрачную, затененную горным краем, лысую высотку. Если заряд радиоуправляемый, что, скорее всего, то там неплохое место для корректировщика, зажался под кустиком между камней – и будь здоров! Враг не дремлет!

– Видишь подозрительное движение – докладывай! – с металлом в голосе командует сапер, – Нечего ворон пугать! – Ребята, давайте жить дружно, – говорю я.

– А я о том же, док, – обернулся сапер, – Только кричать не надо. Когда померещится, – это Володе, – крестятся. Мы еще долго лежали на крыше. Пока прибыло подкрепление и высокое начальство, пока прочесывали местность, пока террорист, поняв, что сегодня удача способствует не ему, привел в действие второй заряд. Заметая следы несостоявшегося преступления раздался хлопок, и разлетелись в небытие осколки. – Жалко, что Шурика с нами не было, – надышавшись пьянящего воздуха первого боевого крещения говорит Володя. У него победоносный вид зазнавшегося мальчишки. Он гордится, что не струсил, что стрелял. Мне знакомо это чувство эйфории, но я уже видел ошалевшие глаза ребят, вышедших из настоящего боя, пролежавших под минами, потерявших своих девятнадцатилетних друзей. Я смотрю на парня. Володя идет, как бывалый американский солдат из фильмов Стоуна о Вьетнаме, положив автомат на плечи и распяв на нем руки. Сапер недовольно косится на меня, его офицерская косточка, выдраенная в предыдущих поколениях Советской Армии, не принимает моего демократического отношения с подчиненными. Перехватив мой взгляд, Володя понимает без слов и перевешивает автомат за спину.

–Шурик находится при исполнении важной оперативной задачи,– бросаю я и вместе с сапером иду к командиру дивизии, неторопливо прохаживающемуся посередине дороги.

–Как самочувствие, док?– машет он нам издали,– что скажете? Среда бела дня у всех на виду!– Командир то ли сокрушается, то ли восторгается прытью “Хизбаллы”. Он возбужден и улыбается, как профессионал, дорвавшийся до настоящей работы, с наслаждением выпевая в эбонитовый микрофон портативной рации команды. Подчиняясь его воле работает артиллерия, до нас доносится гул разрывов, и зеленовато-серые фигурки солдат, рассыпавшиеся цепью, ползают по склону. Эту ли улыбку отца-командира прозвали отеческой, сплывающей бойцов и посылающей их на смерть?!

–Немцы во время войны по обе стороны дороги вырубали мертвую зону, – буркнул я,– И, если проходил важный эшелон, ставили живой щит.

–Доктор,– продолжает улыбаться командир,– Мы же не немцы!

Он прав, но сразу виден пробел в его образовании: ему не пришлось сидеть на собраниях трудовых коллективов, клеймящих израильскую военщину, и программа “Время” не транслировала для него выступления депутатов ООН, пригвоздивших сионизм к фашизму.

–Кстати, доктор,– командир перестает улыбаться, заметив непорядок в боевом строю,– Где второй санитар?

–Он при исполнении важной оперативной задачи,– повторяю я отговорку и эта фраза производит магический эффект своим бронированным звучанием, пресекая ненужные расспросы.

4

“Важная оперативная задача” заключается в том, что Шурик сидит в моем кабинете и читает впечатлительный по объему отчет последней инспекционной проверки. Он должен выбрать все, что имеет к нам отношение и сочинить ответ – всякое там: “по указанным пунктам...”, “в назначенные сроки...”, “будут приняты меры...”, “контроль за исполнением...” В том, что нас протянули через бюрократическую писанину – моя вина. Любой труд, особенно если он по обязанности, а не по вдохновению, нуждается в управлении и контроле. В армии такая система наказания и стимуляции доведена до совершенства благодаря суворовским принципам – внезапность, быстрота и натиск. Но у нас внезапным может быть только враг. Проверяющие в Ливан ездить не любят – их сюда шницелями не заманишь; они предпочитают булочки в столовых военно-воздушных сил или довольствуются бурдой тыловых баз. Короче, об их появлении мы узнали сразу, как только они подъехали к границе. База завертелась и вместе с ней закрутились и мои Володя с Шуриком, ибо нет наказания страшней для израильского солдата, чем сказать ему – “на шабат ты остаешься!” Ребята убрали, мыли и даже успели закрасить лаконичные, но идущие от души фразы, оставшиеся от предыдущих обитателей их комнаты. Как и следовало ожидать, кистью махал Володя, а вымазался Шурик.

–У Вас спина белая,– указал я ему на происшедшее.

–Шутка,– сослался на классиков Шурик.

Хорошие у меня ребята, грамотные. “Сто лет одиночества” на иврите уже освоили. Сейчас обещают законспектировать “Москва-Петушки”. По ночам будят меня криком – “Отдай! Моя очередь! Это мои “Петьюшки”! И в ответ бессмертное – “Так я тебе Эббан Даян!” Не везет власть предержащим во все времена и у всех народов, особенно у еврейского, тут даже на постамент не водрузили, сразу в грязь размазали.

–Вот я вам всем надаян, – рявкаю я и двигаю каблуком по гипсовой перегородке. Пацаны переходят на шепот. По потолку ползают тени. От окна несет ночной свежестью с привкусом мокрого песка.

Так Ленинград по весне вонял корюшкой. Размоченные деревянные ящики с мелкой рыбешкой громоздились на набережных и бойкие бабенки в грязных передниках поверх тулупов торговали ею. Пахло цветением. В глубоких дворах-колодцах еще лежали осевшие, почерневшие кучи снега прошедшей зимы, а пробудившееся солнце светило, отогревая отсыревшие за долгую зиму фасады домов, уныло тянувшиеся вдоль линий Васильевского острова. Тополиный пух закручивался белыми бурунами.

Царь Пётр, в спешке прорубая окно в Европу, позабыл о выходе к морю для своего града. Спустя два с половиной столетия его потомки, исправляя историческую ошибку вспыльчивого монарха, понастроили за кладбищем на осыпающихся песчаных берегах, где когда-то тайно захоронили тела казненных декабристов, бетонных коробок, видимых сквозь камыши со стороны Приморского шоссе. Геометрический примитив архитектуры конца двадцатого века оживили поверженные шведы, увенчавшие морской фасад города высотным зданием гостиницы “Прибалтийская”. И, взлетев над гладью Маркизовой лужи, уносятся к золоченому, играющему водными струями Петродворцу остроносые “Метеоры”. Слово “Петергоф” отзывается звенящим клавесином, семнадцатым веком, шуршанием кринолинов, надушенными париками, мушками, кружевами. Толпы туристов глазают на Большой Каскад и дружно кидают монетки в фонтаны. Моей здесь нет. Зачем? Я приезжал сюда по будням в редкий погожий августовский день, побродить в прохладе аллея, наслаждаясь успокаивающим журчанием воды. Словно не было утренней давки на эскалаторах метро “Василеостровская”, не висли люди, отчаянно цепляясь друг за друга, на подножках трамваев и автобусов и беспомощно не мотал оглоблями, лишившись опоры движению, троллейбус, застрявший напротив Гавани. Не было этого, а была сирена.

За время службы я научился различать их. Обычная сирена – это вместо побудки, без пяти минут шесть. В зимние месяцы, как закон, дежурный по штабу даже ленится давить на кнопку, нажал разок для порядка и продолжает кимарить, а мы, не досмотрев сны, вываливаемся из казармы, гремя амуницией, и чертыхаемся, путаясь в змейках теплого, но несуразного комбинезона, только потому, что “Хизбалла”, для проверки нашей бдительности пульнула разок и полезла назад к себе в нору досыпать. Бывают сирены посильнее, когда есть предчувствие, когда у солдат холодеет внутри, замирает дыхание и напрягаются мускулы – вот он враг! Затаился! Ждет! А бывают сирены, когда беда, когда случилось неповторимое, когда вздрагивает и обрывается всё. Вот тогда воеет и кружит сирена, как долгая февральская выюга.

На крыше нашего броневичка ссутулилась тень – это Шурик. Я издалека вычисляю его по силуэту. Он притулился у антенны и горестно покачивается на свежем ночном ветерке как старый еврей на молитве. Обычно зубоскалящие в ожидании солдаты сидят молча. Нас еще держат в состоянии повышенной боевой готовности, но исправить и предотвратить уже невозможно. Расцветившая черное небо осветительными ракетами, зависли вертолеты и до нас, из глубин неба, доносится гул их моторов. Старый следопыт, с которым я спускаюсь из штаба, кряхтя, поглаживает живот с нажитой за восемь лет службы в Ливане язвой и достает из бронжилета смятую пачку “Малборо”. Я глубоко затягиваюсь. Теплый дым с приятным пощипыванием проникает в легкие и после нескольких затяжек слегка мутит голову. Следопыт заглядывает вовнутрь броневичка и вытаскивает оттуда Володю. “Зайчик, – это слово он выучил в массажном кабинете на центральной автобусной станции в Тель-Авиве и теперь к солдатам из России иначе не обращается, – Дай человеку поспать”. Это значит всё кончено. Если следопыт идет спать – значит всё, продолжения не будет. Его интуиция – интуиция дикого зверя, он может на привале, на ровном месте, когда все оприходывают банки сухого пайка, озадаченно прохаживаться вокруг, заглядывая под камни в поисках подозрительного и взрывоопасного, а может, как сейчас, в разгар заварухи, когда адреналин кипит в жилах, храпеть на носилках. Володя с Шуриком осуждающе косятся на него и спрашивают, что случилось. “Нарвались, –

зло говорю я, хотя злиться и глупо и не на кого,— Купились, как дети малые”. Произошла очередная трагедия. Группа террористов подошла к границе и залегла, дожидаясь. Как опытный шахматист, они проиграли партию на несколько ходов вперед. Когда появился наш патруль, террористы обстреляли его, но не скрылись, а, приняв бой, стали отходить вглубь Ливана.

“Устав и инструкции пишут для дураков и для противника”,— как-то произнес “полковник – подоконник”— по молодости я не расслышал в этом кровавой истины, приняв за очередное проявление солдафонства.

Патруль занял оборону, следуя букве параграфа, вызвал подкрепление, которое, открыв пограничные ворота, кинулось преследовать якобы отступающего противника и сразу же напоролось на загодя установленные мины. Террористы доиграли партию до конца, стрельнув ракетой в вертолет, забиравший раненых. Выбросив предохранительный тепловой шар, летчик, зигзагом, увел машину.

—Печальная повесть о том, как евреи с криком “Азохн вей” в атаку ходили,— подытожил Шурик и полез назад на крышу вынимать ленты и натягивать чехлы на пулемёты.

5

Вечером в дверь постучали. В дверном проёме нерешительно топтался снабженец. В одной руке он держал пакетик хрустящих картофельных хлопьев, а второй привычно чесался то спереди, то сзади.

—Пациент,— серьёзно сказал ему Володя,— Выньте руку из жопы и сделайте дяде доктору “здратье”.

Снабженец, уловив насмешку, недоуменно посмотрел на него. Не всем смертным доступны вершины славянской словесности. Он пришел посидеть, поговорить за жизнь. Среди погибших был наш артиллерист Мотя.

Мы, евреи, странный народ. Мы любим копаться в себе, стараясь понять, за что нас не любят. Наша страсть – моральный садомазохизм, на завтра все газеты и телевидение будут посвящены боли и слезам похорон. Крупные планы поверженных горем родных, фотография матери, прижимающей к груди солдатский ботинок. Воспоминания школьных учителей о детских шалостях и рассказы друзей о мечтах поехать посмотреть мир от Анд до Гималаев после армии; откровения любимых девушек о прелести коротких встреч и планах пригласить всех на свадьбу после армии. Всё было бы у этих ребят после армии, но их жизненный путь пересек Ливан. Политики печально соберутся вокруг круглого стола и будут говорить, что в такую скорбную минуту нельзя сводить счёты и надо сплотиться вокруг общей беды, а потом, постепенно распалаясь, начнут, как на восточном базаре, осыпать друг друга взаимными упреками, тыкать, что опять огорчили доброго американского дядюшку, что повернулись спиной к старушке Европе и что не прислушались к мнению девятого секретаря третьего полномочного посольства нефтеносного эмирата, прибывшего с особой миссией в Женеву через Стокгольм, и высказавшегося во время краткосрочной остановки в Мабуту (где же это находится?)

Снабженец говорит, что сам командир дивизии поедет на похороны Моти и сейчас в штабе округа составляют последнее слово.

Мне нечего сказать о Моте. Несколько месяцев подряд мы встречались за обедом. Он шумно заполнял пространство над столом, раскладывая горками нарезанный хлеб, переставляя солонки и гоняя повара, требуя вегетарианский шницель с кукурузными зернышками.

Мне нечего сказать о Моте. Лукаво поглядывая через плечо на одиноко жующего за своим столом командира дивизии, Мотя сообщал нам его голосом: “Танк с высоты “Двадцать звёздочек” снимается с боевого дежурства и возвращается...,— вилка – импровизированная сигарета в раздумье висит над тарелкой-картой, мы слышим знакомое генеральское сопение,

сопутствующее мысленному процессу, потом тяжёлое откашливание после глубокой затыжки и приговор,— Нет. Не возвращается. Пусть еще двадцать четыре часа повоюет”.

Мне нечего сказать о Моте. Ребята, бывшие с ним в тот вечер, рассказали мне, что за несколько часов до гибели, Мотя позвонил домой и сообщил матери, что он жив – здоров, а если что случится – она узнает об этом из новостей. Было ли то предчувствие или простая юношеская бравада – никто нам уже не ответит.

Нет. Мне действительно нечего сказать о Моте. Когда ни за что, по слепому стечению обстоятельств, гибнут ребята, мне хочется уединиться и помолчать. Как молчали мы когда-то, еще детьми, стоя в карауле у памятника пионерам-героям, нашим ровесникам, в Таврическом саду, а на другой стороне пруда пенсионеры и малыши кормили уток. Порывистый северный ветер пригибал к земле Вечный огонь, тербил красные галстуки, вздувая пузырьком белые парадные рубашки, пробирал нас холодом до костей. Немела вздернутая салютом правая рука. Над нашими головами большие черные вороны расправляли крылья на голых ветвях вековых деревьев. Протяжное “кар-р-р” звенело в морозном воздухе, предрекая судьбу.

Цвика натужно хрустит картофельной шелухой, он явно разочарован, с добрым намерением пришел поговорить, разобраться в вечном философском вопросе жизни и смерти, а наткнулся на сдержанное непонимание. “А что делают в России, когда теряют товарища?” – спрашивает Цвика.

–Поминки,— отвечает Володя.

–По-ми-на-ют,— по слогам поправляет его Шурик.

Цвика переводит взгляд с меня на моих ребят.

–Послушай,— говорю ему я, – Подожди пять минут. Пацаны, одна нога здесь, другая – у Молдована. Пусть даст всего понемножку. И лимончиков. У него ящик заначен.

–А если не даст?– предусмотрительно интересуется Володя.

Молдован – наш повар, жирный прыщавый парень из паршивого, запыленного городка Оргеева, где по преданию обитает самый глупый бессарабский еврей и откуда родом Дизенгоф – человек не на невских болотах, но на яффских песках основавший город. Стремительный прорыв к новой государственности породил Петербург и Тель-Авив.

–Тогда скажешь ему, что свое плоскостопие он будет лечить не домашними тапочками, а кирзачами. На радость “товарищу-прапорщику”.

Я же, прихватив офицерскую сумку с Красным Маген Давидом, в которой обычно ношу документы, отправляюсь с особой миссией к Ваське. Пехотинец, дежурящий на крыше бункера, кричит мне: “Что нового, док?” Обычно я останавливаюсь скоротать его время, но сегодня мне некогда. Васька с коммерческой сметливостью делает скорбное лицо и говорит: “Жалко. Хорошие люди гибнут. Жалко,” – он сокрушенно цокает языком и перебирает четки.

–Васька, люди гибнут за металл. Или за свободу.

–За мой металл. За вашу свободу,— Васька улыбается,— Три шестьдесят две, товарищ-начальник?– это как пароль, вымерший, но ставший нарицательным тариф. Он напоминает о скрученной зубами “бескозырке” в сумрачной, загаженной парадной на Литейном с потухшей с приходом Советской власти изразцовой печью и тяжелыми чугунными перилами, где мы прятались от субботника по уборке листьев в Куйбышевской больнице. Бутылка “Московской” переходит из рук в руки и исчезает в моей сумке. “Под защитой Красного Креста и Красного Полумесяца” – Васька щелкает толстым пальцем с длинным отманикюренным ногтем по звезде Давида.

Часовой на крыше, сучая, снова окликает меня: “Док! В больнице что-то случилось?!” Я отмахиваюсь: “Все будет хорошо!” В комнате ребята застелили газетой стол, нарезали лучок и помидоры, разложили по тарелкам пайковую колбасу и сыр. Цвика покорно смотрел на насмешательство над кашрутотом.

Сразу стало тесно. Собрались все, кого “товарищ прапорщик” гневно, но за глаза называл “русской мафией”. Пришел с банкой солёных огурцов и гитарой связист Рустик, тоже питерский, но с окраин, от “Кулича и пасхи”, пришел выкрест во втором колене Слава, чей отец удивительно сочетал в себе и передал по наследству врожденную еврейскую тягу к Иерусалиму и вымоленное христианское стремление к Святым местам Палестины. Пехотинцев привёл, как мать-наседка, двухметровый Вадик и, усаживая на шурикину кровать, показал увесистый кулак: “Чтоб молчали у меня, салаги!”. Потом Вадик хотел пройти, пожать всем руки, но, разглядев офицерские погоны Цвики, не стал обострять ситуацию и забился в угол. Как еврейские пай-мальчики, вернувшиеся с занятий в шахматном клубе, по – интеллигентному робко, бочком протиснулись, затянутые в комбинезоны, танкисты – Володя Либерман, Бублик (не повезло человеку с фамилией) и вечно хмурый Лёва “с Одессы”. Они заняли уголок володиной койки и, сразу вся придорожная пыль фронтовых дорог, рельефно осыпалась на матрас и вокруг ботинок. “Вы, такие – раз такие, – набросился на них Володя, – Задницу надо мыть, приходя в приличное общество. Залезли, понимаешь, в презервативы и довольны”. Володя Либерман покраснел в смущении, Бублик, привыкший не реагировать, промолчал, а Лёва буркнул: “Коптить нас так сподручнее”.

–И чего меня так тянет к землякам и медицине?! – с пониманием подмигнул сапёр. Он только что вступил в должность и зашел, представляясь, – Женя.

–Да, мы здесь ребята крутые, – напыжился, выпятив подбородок, Володя.

–Ну, это мы после проверим, – Женя по-хозяйски протиснулся к столу, принялся к металлической банке пива, – Мин нет? – осведомился одобрительно.

Водку разлили по пластиковым стаканчикам. “Лехаим, – сказал я, – За жизнь. И за Мотю”. “Чтоб земля была ему пухом”, – пробасил Вадик. Славик безмолвно шевелил бледными губами, у него есть шанс быть услышанным и Иеговой и Исусом. Володя Либерман, весь пунцовый, бормотал, что он не пьет, Бублик, пропустив, мимо ушей, коварный вопрос о том, чем он будет закусьвать, с опаской принохивался, а Лёва “Чтоб не в последний раз!” – хлопнул свои пятьдесят грамм.

Женя взял гитару, попробовал аккорды и запел из Высоцкого “Отражается небо в холодной воде и деревья стоят, как живые”. Молчали ребята, молчал Цвика, в интонациях почувствовав смысл песни. Над моей головой в вышине покачивались кроны древних сосен Карельского перешейка, за разлапистыми елями проступала размытой акварелью синева, одинокая береза шумела сочной зеленью на ветру. Полное ярко-желтых лисичек берестяное лукошко, в которых продавали парниковую клубнику, забыто на краю осыпающейся траншеи, оставшейся со времен финской войны. То там, то тут виднеются следы “искателей приключений” – взрытый дерн и потревоженный ковёр хвои и мха. Копали в поисках гильз. Я ползу, обдирая об узловатые коренья локти, от кустика к кусту черники весь измазанный кровавым ягодным соком. Деревья расступаются перед залитой золотом света опушкой. Я приподнимаюсь на колени, среди высокой травы проступают сероватые, размером с блюдце, шляпки грибов. Белые?

Назойливый писк комара у самого уха отвлекает меня. Писк превращается в дребезжание телефона внутренней связи.

–Док, поднимись на наблюдательный пункт к командиру дивизии, – говорит дежурный по штабу. Его будничным голосом не предвещает ничего хорошего.

–“Он вчера не вернулся из боя”, – на иврите заканчивает песню Женя.

–Нет. Мне не понять таинственную русскую душу, – заключает Цвика.

–Ты не прав, – поправляю его я, – Тебе не понять таинственную душу русского еврея.

Схватив автомат, я скачу через три ступеньки на крышу. В тесной надстройке-веранде в тягучей вате табачного дыма задумчиво плавают командиры дивизии. Один солдат корпит над приборами, второй, накрывшись с головой, спит. В черно-белом телевизоре шевелятся размытые тени. Наш дозор – настороженные, уязвимые, открытые всем ветрам и ночным страхам. Солдат что-то повертел, и изображение сменилось грязно-серой рябью неожиданно побелевшей вспышкой взрыва. Командир дивизии удовлетворенно хмыкнул. Тут он заметил меня: "Послушайте, доктор, террористы обстреляли наш танк на высоте "Двадцать звездочек". Мы ответили огнём. – Экран телевизора вновь озарился белым свечением. После первого выстрела командир танка потерял слух на одно ухо. Что это может быть?"

–Наверно лопнула барабанная перепонка,– предположил я,– Дайте мне поговорить с экипажем.

Солдат защелкал тумблерами, переводя связь: "Здесь доктор– "двадцать звёздочек", ответьте! "

–"Двадцать звёздочек" слушает!

–Здесь доктор,– повторил я,– Мне надо знать, есть ли выделения из уха!

–Что?!

–Из уха течет?

Несколько минут мы слышали тяжёлое сипение. Можно себе представить как в темноте консервной банки, именуемой танком, раскалённой за день, а сейчас излучающей тепло и от того еще более горячей, в кромешной темноте, пальцами измазанными тавотом, под шлемофоном люди пытаются что-то нащупать в ушной раковине.

–Ухо потное,– доложили.

–Лопнула барабанная перепонка,– повторил я,– Других причин вроде нет. Это пройдет.

–Опасности для жизни – никакой,– заключил командир дивизии,– Продолжаем воевать.

Доктор, для душевного спокойствия, поговори с каким-нибудь докой по ушам. И запиши в журнал, – добавил назидательно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.